

Имя Андрея Макина в конце минувшего года не сходило со страниц французской прессы. Ничего удивительного: ведь он стал лауреатом сразу двух престижнейших литературных премий — Гонкуровской, являющейся во Франции высшей наградой за писательский труд, и премии Медичи, стоящей по своему значению на втором месте. Случай поистине исключительный. Но еще более исключительно другое. Лауреат, которого, кстати, еще вчера почти никто не читал и которому издательства регулярно возвращали его рукописи с вежливой резолюцией "в настоящий момент опубликовать не представляется возможным", — русский (а в недавнем прошлом советский) человек. При этом свои книги он пишет на французском языке. И на таком французском, который вызывает, как теперь выяснилось, бурные восторги академиков — хранителей чистоты этого языка! Сегодня мы хотим познакомить вас с рецензией на роман Андрея Макина "Французское заведение", разумеется, ставший после присуждения премий бестселлером (эта рецензия появилась в еженедельнике "Нувель обсерватор" еще до награждения и до общего ажиотажа вокруг автора, чем, возможно, особенно ценна), а также с самим писателем, чье интервью опубликовал журнал "Пари-матч".

Елена КАРАСЕВА

Сокровища из бабушкиного сундучка

Время от времени среди рутины литературной жизни случается вдруг одно чудо, которое вознаграждает вас за сотню разочарований. В 1995 году такое чудо сотворил Андрей Макин — русский писатель, поселившийся восемь лет назад во Франции, а до этого живший попеременно то в большом городе на берегу Волги, то в степном селе у своей бабушки Шарлотты... Бабушка была французской женщиной, которую судьба забросила туда еще в начале века. И книга в первых своих главах — это как бы разговор автора с ней, теперь уже ушедшей в мир иной, ее рассказ о далеком прошлом России. Но не только о России. Шарлотта с помощью собственных воспоминаний, а также бережно сохраненных в сундучке старых газетных вырезок старалась нарисовать внуку Париж ее юности — сказочную столицу, утопающую в роскоши и ярких огнях, поразительно контрастирующую с

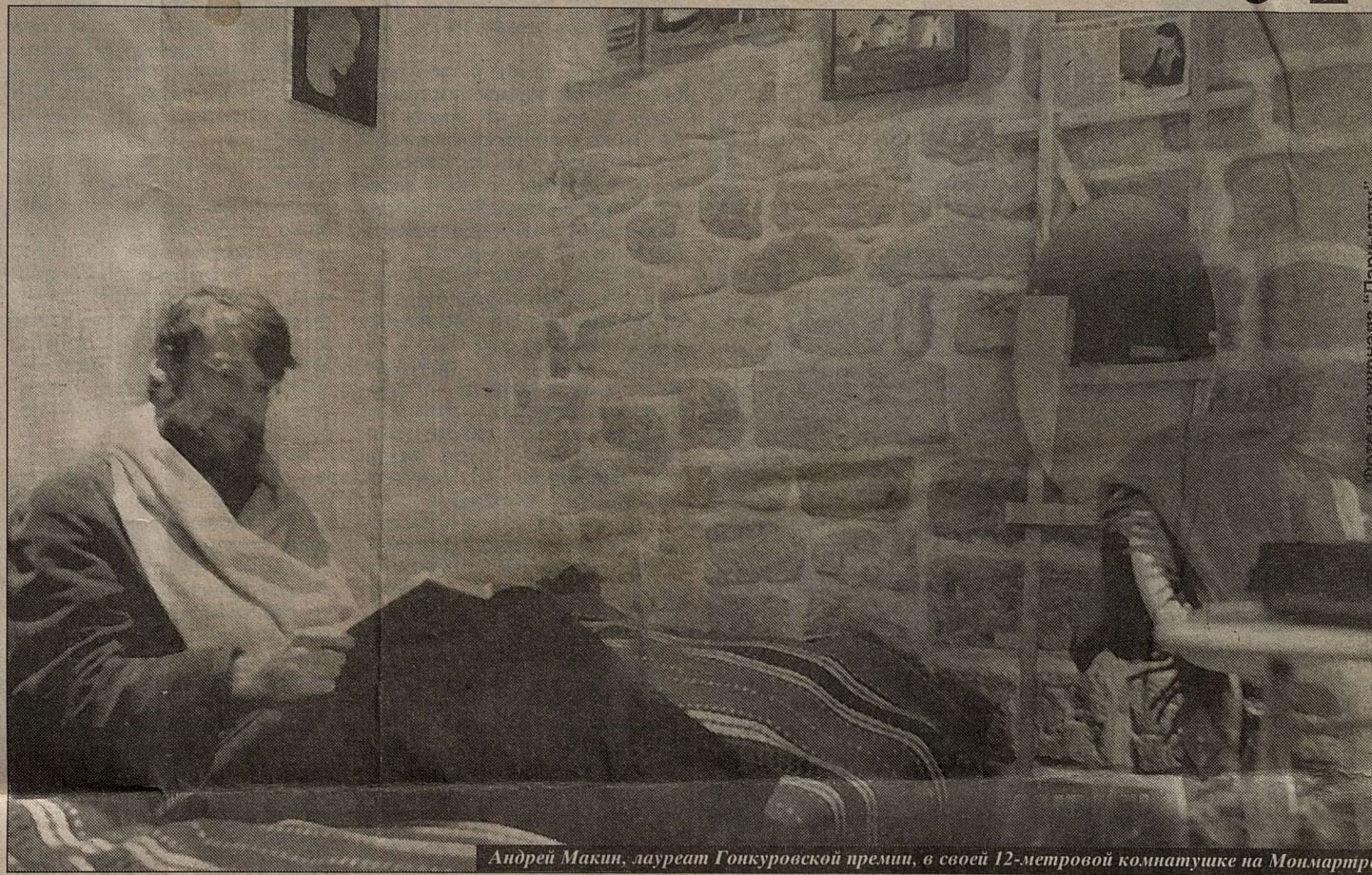
тусклыми красками советских будней. Из бабушкиной памяти выплывали удивительные картинки: парижское наводнение 1910 года, сделавшее город похожим на легендарную Атлантиду, официальный визит во Францию Николая II с торжественными речами и банкетами, французский президент Феликс Фор, внезапно умирающий в объятиях своей любовницы...

В школе одноклассники подшучивали над франкоманией Андрея. А сам он в то время терзался внутренней раздвоенностью, принадлежа одновременно двум несоместимым мирам. В одном из этих миров, например, Николай II выглядел кровавым деспотом, а в другом — любезным государем, с почестями принимаемым на берегах Сены и с пафосом прославляемым в стихах поэта Жозе-Мария де Эредиа. "Когда я произносил слово "царь" по-русски, перед моими глазами сразу возникал жестокий тиран, когда же это слово звучало по-французски, то наполнялось светом, приятными шумами, шелестом ветра, сверканьем люстр, обнаженными женскими плечами, отражающимися в зеркалах, ароматами духов..." — пишет он в своем романе.

Андрей Макин ощущал себя

ЛАУРЕАТЫ

Культура. — 1996. — 17 февр. — с. 10.



Андрей Макин, лауреат Гонкуровской премии, в своей 12-метровой комнатке на Монмартре

то русским, то французом. И эта борьба двух начал, двух национальных принадлежностей составляет главное содержание второй части книги. В России он старался "излечиться" от Франции, во Франции пытается сохранить внутреннюю связь с Россией. Ситуация достаточно дискомфортная, но именно благодаря ей прозу А.Макина пронизывает поэтический ток высокого напряжения. В его романе слышится тихая музыка воспоминания — в духе Марселя Пруста. Но музыка эта никогда не становится слишком сладкой: автор постоянно ее "корректирует", усиливает и даже огрубляет, приводя подробности суровой советской действительности.

Россия предстает перед читателем не только избами, босоногими старушками, сидящими на лавочках во дворах, и заснеженными просторами, но и жестокостями, и злодеяниями... Мать Андрея была сослана в Сибирь и познала все ужасы лагерей. Его горячо любимая бабушка Шарлотта Лемонье была во время революции изнасилована и брошена одна в пустыне умирать...

Незабываемая Шарлотта! Несмотря на десятилетия "заточения" в провинциальной глуши, где церкви стояли без куполов, обезглавленные коммунистами, она сохранила вопреки всем трагическим перипетиям истории и суровому климату свой родной язык. И который сегодня воскресает

на страницах книги, написанной ее внуком!

"...И часто "обворовываю" прохожих"

— Какой эффект произвела на вас эта двойная награда?

— Когда мне присудили премию Медичи пополам с Василисом Алексакисом, я, конечно, был рад оказаться рядом с таким признанным писателем. Однако это вызывало чувство какой-то неполноценности: будто он сидит в кресле, а я пристроился рядышком на откидном стуле. Зато Гонкур дал мне полное счастье: тут я уже был на пьедестале один!.. Я искренне считаю, что заслужил эту награду. Но это и большая честь. Причем честь

какая-то нереальная, поскольку члены гонкуровского жюри — это ведь все живые классики! А еще, помимо всего прочего, это грандиозная победа моего издателя ("Меркюр де Франс"), решившего печатать книгу вопреки и наперекор всему.

— Как вы себя ощущали на другой день после присуждения Гонкура?

— Неловко признаться, но я был совершенно спокоен. Вся эта журналистская суэта была мне только в тягость. Я не привык к всплескам фотоаппаратов. К тому же это вредит моему зрению.

— А как вы выучили французский язык?

— Пытаюсь вспомнить, что послужило толчком, и ничего

не приходит на память, кроме французской детской считалочки "Пикоти-пикота, хвост трубой, и нет кота", которой меня научила моя бабушка Шарлотта, когда мне было примерно четыре года. Позднее я постоянно говорил по-французски с мамой и с сестрой. А главное — очень много читал на этом языке.

— Когда вы приняли решение уехать из России во Францию?

— Решение вызревало медленно. Я не был по-настоящему диссидентом, хотя и очень критически относился к советскому строю. Когда же началась перестройка, я быстро понял, что все это приведет Россию к мафиозному капитализму, что появятся эти самые новые русские, то есть нувориши. Я плохо представлял себя в этой ситуации... Сегодня те, кто не сумел приспособиться к переменам, превратились в обломки общества. Я же предпочел уехать.

— А каким образом вы сбегали?

— Очень даже официально. Во время деловой командировки, находясь в Париже, решил там остаться. Попросил политического убежища. Никого там не знал. При себе имел в качестве багажа единственный чехмодан.

— Как же вы выкручивались, чтобы выжить в городе, где у вас никого не было?

— Было нелегко. Ночевал, где придется. Одно время жил в склепе, на кладбище Пер-Лашез.

— Какая обстановка необходима вам для работы?

— Мне нужны покой и тишина. Я должен быть сосредоточен на все сто процентов. Я не пользуюсь ни пишущей машинкой, ни компьютером, пишу от руки... В ту пору, когда у меня не было постоянного жилья, я до того привык писать, сидя на городской скамейке, что и сегодня пристраиваюсь где-нибудь, раскладываю на коленях листки и начинаю водить

перышком по бумаге. При этом всегда использую обратную сторону черновики, а точнее, рукописи своих романов, возвращенные мне назад издательствами с отказом. Я очень экономен, когда речь идет о бумаге.

— А где все-таки вы обычно работаете?

— Люблю работать в своей 12-метровой комнате — так называемом помещении для прислуги, где сейчас живу. Или во внутреннем дворике, куда выходит мое окно. Кроме того, регулярно езжу в Ланды (район на юго-западе Франции. — Ред.). Там обычно пишу, сидя прямо на земле, среди сосен.

— Что питает, стимулирует ваш творческий процесс?

— Воспоминания, память... Вспоминая, человек уже творит. Когда вы о чем-то вспоминаете, то переживаете события прошлого особым, необыкновенным образом, отбирая из пережитого те или иные важные моменты. Вы уже как бы потенциальный писатель.

— Значит, вы черпаете сюжеты внутри самого себя?

— Да, но не только. Я много наблюдаю. И часто "обворовываю" случайных прохожих. Они меня просто подпитывают. Услышу вдруг на улице какую-нибудь потрясающую реплику и сразу бросаюсь ее записывать, чтобы потом использовать. Я, можно сказать, действую, как фотограф-невидимка.

— Как протекает обычный день вашей жизни?

— Жизнь писателя не очень интересна. На мой взгляд, она вообще не похожа на будни, ритм которых отмеряется обедами и ужинами. Для меня не имеет никакого значения, ем я сегодня или нет. Я не организую свою жизнь. Я пишу, а все остальное каким-то образом — и сам не знаю толком, как — образовывается вокруг этого занятия. Я могу иногда работать по 16 часов в сутки, иногда — только в ночное время. Случается, что ничего не пишу по несколько дней. А бы-

вает, что вскакиваю с постели среди ночи, чтобы записать какую-то мысль... Я работаю в растяжимом графике, не поставхановски.

— Вам случается испытывать чувство тоски и страха перед чистым листом бумаги?

— Для меня подобные разговоры — полнейшая выдумка. В моей работе этого не существует, потому что до чистого листа уже бывают исписаны целые папки черновики.

— Давала ли вам писательская деятельность средства к существованию?

— Ничтожные. Когда приходили какие-то гонорары, я чувствовал себя богатым. Но спустя шесть месяцев ситуация уже могла быть настолько тяжелой, что, заходя в булочную, я покупал только краюшку хлеба. Впрочем, я обхожусь малым: хлеб, молоко, чай. Чая пью, правда, много...

— У вас нет другого занятия, которое бы вас кормило?

— По-моему, если у вас есть призвание и желание заниматься творчеством, то жить надо только ради этого. Да, некоторые писатели действительно где-то трудятся полный рабочий день, а за перо берутся в свободное время. Но я так не могу. Правда, я читаю лекции на факультете политологии Парижского университета. Но это совсем не обременительно. И делаю я это, чтобы общаться с молодежью, понять, что у них сейчас в голове, и таким образом сохранять связь с сегодняшней действительностью.

— Гонкуровская премия изменит ваш образ жизни?

— Нет, не изменит. Недаром ведь существует выражение "проклятый поэт". Оно прекрасно передает состояние поэта. Поэт обречен, приговорен следовать законам творчества и подчинять творчеству все свое существование.